

ПРЕДИСЛОВИЕ

В 1991 году я получил двухгодичную стипендию от одного японского фонда. Идея заключалась в том, чтобы обучить в английском университете семерых молодых англичан с различными профессиональными интересами основам японского языка и затем отправить их на год в Токио. Предполагалось, что мы свободно овладеем языком и это положит начало новой эпохе контактов с Японией. Мы стали первыми стажерами, которым предстояло обучаться по этой программе, и на нас возлагали большие надежды.

В течение второго года мы занимались по утрам в языковой школе в Сибуре, на холме над беспорядочным скоплением закусочных и дешевых магазинов, торговавших электротоварами. Токио оправлялся от краха «экономики мыльного пузыря» 1980-х годов. Люди на пешеходных переходах, самых оживленных в мире, всматривались в экраны, которые показывали, как биржевой индекс Никкей ползет все выше и выше. Чтобы не спускаться в метро в час пик, я выходил из дома на час раньше и встречался с другим студентом (он был археологом, постарше меня), и по дороге в школу мы с ним выпивали кофе и съедали по коричневой булочке. Я получал домашнее задание, самое настоящее, — впервые со времени

окончания школы: каждую неделю я должен был заучивать сто пятьдесят иероглифов-кандзи, прочитывать и разбирать колонку из таблоида и ежедневно повторять десятки разговорных оборотов и фраз. Я очень нервничал. Другие студенты, помоложе, перешучивались по-японски с преподавателями о телепередачах или политических скандалах. Перед школой были зеленые металлические ворота, и я помню, как однажды утром пнул их и поймал себя на мысли: «Как же так — мне уже двадцать восемь, а я пинаю школьные ворота?»

Вторая половина дня без остатка принадлежала мне. Два раза в неделю я ходил в керамическую мастерскую. Моими соседями оказывались самые разные люди — от отставных бизнесменов, лепивших чайные чашки, до студентов, создававших из грубой красной глины и провололочной сетки авангардистские высказывания. Заплатив взнос, ты хватал скамью или гончарный круг, и тебе предоставляли полную свободу действий. Там было не слишком шумно, хотя вокруг и стоял жизнерадостный гул. Я впервые начал работать с фарфором и осторожно надавливал на стенки своих кувшинов и чайников, только что снятых с круга.

Я лепил посуду с детства и изводил отца просьбами устроить меня в вечернюю школу. Моим первым изделием стала вылепленная на круге чашка, которую я покрыл переливчато-белой глазурью, добавив капельку кобальта. Будучи школьником, я проводил почти все вечера в гончарной мастерской и рано, в семнадцать лет, покинул школу, чтобы стать подмастерьем у одного сурового человека, горячего поклонника английского гончара Бернарда Лича. Это он привил мне уважение к материалу, терпение

и целеустремленность: у него я лепил на круге сотни суповых мисок и горшков для меда из серой каменной керамики и мел пол. Я помогал делать глазурь, которая очень напоминала восточную. Мой учитель никогда не бывал в Японии, но целые полки у него были заставлены книгами о японской керамике. За кружкой позднего утреннего кофе с молоком мы обсуждали достоинства тех или иных чайных чашек. Остерегайся неоправданных жестов, говорил он: меньше значит больше. Работали мы в тишине или под классическую музыку.

В середине моего ученичества, еще не достигнув двадцати лет, я провел долгое лето в Японии, посещая не менее суровых гончаров в разных концах страны: Масико, Бидзэн, Тамба. Каждый шорох бумажной ширмы, каждый звук воды, журчавшей по камням в саду у чайного домика, становились для меня откровением, — а каждое переливающееся неоновым заведение «Данкин донатс» заставляло меня вздрагивать и морщиться. Документальным свидетельством глубины моего тогдашнего благоговения является журнальная статья, которую я написал после возвращения: «Япония и гончарная этика: о воспитании уважения к своему материалу и к знакам эпохи».

По окончании своего ученичества я изучал английскую литературу в университете, а затем семь лет работал в одиночестве сначала в тихих, строгих мастерских на границе Уэльса, после — в мрачном городском районе. Я был очень сосредоточен, и мои изделия получались такими же. И вот теперь я снова оказался в Японии — в захлавленной мастерской, бок о бок с человеком, который болтал о бейсболе, — и делал фарфоровый кувшин с приплюснутыми,

будто подвижными стенками. Мне было очень хорошо: похоже, я находился на верном пути.

Дважды в неделю после обеда я отправлялся в архив Музея народных ремесел и работал над книгой о Личе. В этом музее, который представляет собой перестроенный крестьянский дом в пригороде, хранится коллекция предметов народных ремесел Кореи и Японии, собранная Соэцу Янаги — философом, искусствоведом и поэтом. Янаги разработал теорию, объяснявшую, почему некоторые предметы — посуда, корзины, ткани, изготовленные неизвестными ремесленниками, — так красивы: они выражают бессознательную красоту, потому что их делали в таких количествах, что ремесленник освобождался от груза собственного «я». В молодости — в начале XX века в Токио — они с Личем были неразлучными друзьями, вели оживленную переписку о книгах: о Блейке, Уитмене, Рёскине. Они даже основали колонию художников в деревушке, расположенной на удобном расстоянии от Токио. Там Лич лепил посуду с помощью местных мальчишек, а Янаги рассуждал со своими богемными друзьями о Роде и о красоте.

В соседнем с музейными залами помещении каменные полы сменял офисный линолеум. Дальше по коридору находился архив Янаги: маленькая — три с половиной на два с половиной метра — комнатка с полками от пола до потолка, заставленными его книгами и картонными коробками с блокнотами и письмами. А еще там был письменный стол и единственная лампочка. Я люблю архивы. Этот архив — очень, очень тихий и чрезвычайно мрачный. Здесь я читал и делал выписки, собираясь писать ревизионистскую работу о Личе. Я вынашивал в уме тайную книгу

о «японизме»: о том, как Запад больше ста лет превратно толковал Японию — страстно и созидательно. Мне хотелось понять, что именно в Японии пробуждало пыл у художников и вызывало не меньшее раздражение у ученых, которые указывали на их бессчетные промахи. Я надеялся, что, написав такую книгу, смогу перебороть собственное глубокое, слепое увлечение этой страной.

И раз в неделю я проводил вторую половину дня с моим двоюродным дедушкой Игги.

Я поднимался в гору от станции метро, мимо блестящих автоматов, продававших пиво, мимо храма Сэнгакудзи, где похоронены сорок семь самураев, мимо нелепого молитвенного дома синтоистов, мимо суши-бара, принадлежавшего некоему мистеру Икс, затем сворачивал вправо возле высокой стены, окружавшей парк с соснами принца Такамацу. Я входил в дом и поднимался на лифте на седьмой этаж. Обычно Игги, сидя в кресле возле окна, читал. Чаще всего — Элмора Леонарда или Джона Ле Карре. Или чьи-нибудь мемуары на французском. Странно, говорил он, кажется, будто одни языки теплее других. Я наклонялся, и он целовал меня.

У него на письменном столе лежало пресс-папье, стопка почтовой бумаги с его именем и ручки, хотя он больше не писал. Из окна за его спиной были видны строительные краны. Токийский залив постепенно закрывали со-рокаэтажные кондоминиумы.

Мы вместе обедали. Обед готовила его экономка госпожа Накано или оставлял его друг Дзиро, живший в смежной квартире. Омлет с салатом, поджаренный хлеб из превосходной французской пекарни в одном из универсамов в районе Гинза. Бокал холодного белого вина — сансера

или пуйи-фюме. Персик. Немного сыра, а потом — очень хороший кофе. Черный кофе.

Игги было восемьдесят четыре года. Он слегка сутулился. Игги всегда безупречно одевался, и ему очень шли пиджаки «в елочку» с носовым платком в нагрудном кармашке, светлые рубашки с галстуком. У него были небольшие седые усы.

После обеда он открывал раздвижные двери длинной витрины, занимавшей бóльшую часть стены в гостиной, и вынимал оттуда нэцке, одно за другим. Зайца с янтарными глазами. Мальчика с самурайским мечом и шлемом. Тигра, будто состоявшего из одних только плеч и ног, развернувшегося с оскаленной пастью. Игги передавал мне одно из нэцке, и мы вместе рассматривали его, а потом я бережно ставил его обратно в шкаф, где на стеклянных полках стояли десятки других фигурок людей и животных.

Я наполнял водой маленькие плоские, всегда стоявшие в шкафу, чтобы слоновая кость не трескалась.

Я не рассказывал тебе, говорил Игги, как мы любили их в детстве? Что их подарил моим родителям парижский двоюродный брат отца? Я не рассказывал тебе историю про карман Анны?

Разговор порой принимал странный оборот. То Игги описывал, как в день рождения отца их венский повар готовил на завтрак *кайзершмаррн* — слоеную запеканку из блинов с сахарной пудрой и повидлом; как блюдо торжественно вносил в столовую и разрезал длинным ножом дворецкий Йозеф; как папа всякий раз говорил, что даже император не мог и мечтать о лучшем начале дня рождения... То заговаривал о втором замужестве Лилли. Кто такая эта Лилли?

Слава богу, думал я, хоть мне ничего не известно о Лили, я хотя бы кое-что знаю о том, где разворачивались некоторые из этих историй: Бад-Ишль, Кевечеш*, Вена. И когда в сумерках на строительных кранах зажигали фонари, уходящие все дальше и дальше к заливу, я думал, что становлюсь кем-то вроде личного секретаря и что мне, пожалуй, следовало бы записывать то, что Игги рассказывает о жизни Вены перед Первой мировой, следовало бы сидеть рядом с блокнотом. Я так и не решился. Мне виделось в этом что-то официальное и неуместное. Еще мне виделась в этом жадность: ага, какая забавная история, заберу-ка я ее себе! К тому же мне нравилось, как от повторения все будто выглаживается, — в рассказах Игги многое походило на речные камушки.

За год я наслушался и о том, как их отец гордился смышленностью Элизабет, старшей сестры Игги, и что матери не нравилась ее вычурная речь: «Выражайся понятно!» Он часто упоминал (с некоторым волнением) об игре с сестрой Гизелой: одному из них нужно было взять какой-либо мелкий предмет из гостиной, пронести его по лестнице и через двор, незаметно для слуг спуститься по ступеням в погреб и спрятать его в сводчатом подвале. А другому потом нужно было вернуть этот предмет на место. И о том, как однажды он потерял что-то в темноте. Тут, похоже, воспоминание тускнело и обрывалось.

Множество историй было связано с Кевечешем — семейным поместьем в будущей Чехословакии. Как Эмми, мать Игги, разбудила его однажды до зари, чтобы он впервые сам отправился с ружьем и с егерем на охоту — пострелять

* Сейчас это территория словацкого города Римавска-Собота.

зайцев на стерне, и как он не в силах был спустить курок, когда увидел заячьи уши, слегка дрожавшие на утреннем холодке. Как однажды Игги с Гизелой наткнулись на цыган с медведем на цепи, вставших табором на краю их имения у реки, и как они, перепугавшись, опрометью бежали назад до самого дома. Как у платформы останавливался «Восточный экспресс», и как начальник станции помогал их бабушке выйти из вагона, а они мчались ей навстречу и брали у нее из рук зеленый бумажный сверток с пирожными, которые она купила в Вене, в кондитерской «Демель». И как однажды за завтраком Эмми подвела его к окну столовой, чтобы показать осеннее дерево: оно было сплошь обсажено щеглами. И как потом он постучал в оконное стекло, и все щеглы улетели, а дерево так и продолжало сиять золотом.

Пока Игги немного дремал после обеда, я мыл посуду, а потом брался за домашнее задание и исписывал корявыми иероглифами один клетчатый лист бумаги за другим. Я засиживался до возвращения Дзиро. Приходя с работы, он приносил японские и английские газеты и круассаны для завтрака. Дзиро ставил Шуберта или джаз, мы выпивали по рюмке, и я оставлял их одних.

Я снимал очень симпатичную комнату в Медзиро, окна которой выходили в маленький сад, заросший азалиями. У меня были электроплитка и чайник, я крутился как мог, но все равно по вечерам чаще всего оставался наедине с лапшой и чувствовал себя никому не нужным. Дважды в месяц Дзиро и Игги приглашали меня поужинать или на концерт. В «Империале» они угощали меня напитками, а затем превосходными суши или татарским бифштексом, или же, отдавая дань нашим предкам-банкирам,

*boeuf à la financière**. От фуа-гра, на которое налегал Игги, я отказывался.

В то лето в британском посольстве устроили прием для учащихся. Мне предстояло публично рассказать японски о том, чему я научился там за год, и сказать, что культура стала мостом между нашими двумя островными государствами. Я репетировал до полного изнеможения. На прием пришли Игги и Дзиро, и я видел, как они подбадривают меня, поднимая бокалы с шампанским. Потом Дзиро потрепал меня по плечу, а Игги поцеловал. Заговорщически улыбаясь, они заявили, что мой японский *ёдзу дэсу нэ* — блестящий, превосходный, непревзойденный.

Они хорошо устроились, эти двое. В квартире Дзиро была традиционная японская комната с циновками-татами и маленьким алтарем, на котором стояли две фотографии — его собственной матери и Эмми, матери Игги. Там читались молитвы и звенел колокольчик. А по соседству, в квартире Игги, на его письменном столе, стояла фотография, изображавшая их самих — в лодке на Внутреннем Японском море. Позади поросшая соснами гора, вода сверкает на солнце. Снимок сделан в январе 1960 года. Дзиро очень хорошо выглядит: волосы зачесаны назад, его рука лежит на плече Игги. А на другом фото, снятом уже в 1980-х, они на круизном судне где-то неподалеку от Гавайских островов, в вечерних костюмах, держатся за руки.

Пережить всех — вот что трудно, произносит Игги чуть слышно.

* Говядина в грибном соусе (фр.).

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	7
-------------------	---

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПАРИЖ (1871–1899)	29
Le West End	30
Un lit de parade	43
«Мой вожатый и поводырь»	50
«Такие легкие, такие нежные на ощупь»	57
Коробка с детскими сладостями	71
Лисица с инкрустированными глазами, деревянная	79
Желтое кресло	86
Спаржа месье Эльстира	91
Даже Эфрусси на это клюнул	103
«Мой маленький барыш»	113
«Поистине блестящий five o'clock»	121

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ВЕНА (1899–1938)	137
Die Potemkinsche Stadt	138
«Ционштрассе»	150
История как она есть	156
«Большая квадратная коробка, какие рисуют дети»	170
«Свободная территория»	178
Милое юное создание	189
Давным-давно... ..	201
Типажи старого города	205

Heil Wien! Heil Berlin!	216
Буквально равен нулю	243
«Сумей себя пересоздать и ты»	255
Эльдорадо 5-0050	267

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ВЕНА, КЕВЕЧЕШ,

ТАНБРИДЖ-УЭЛЛС, ВЕНА (1938–1947)	283
«Идеальное место для шествий масс»	284
«Неповторимая возможность»	296
«Годен для одной поездки»	309
Слезы — в природе вещей	319
Карман Анны	328
«Совершенно открыто, публично и законно»	337

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ТОКИО (1947–2001)	345
Такеноко	346
«Кодахром»	356
Откуда они у вас?	367
Настоящая Япония	376
На стадии шлифовки	386

КОДА

ТОКИО, ОДЕССА, ЛОНДОН (2001–2009)	389
Дзиро	390
Астролябия, мензула, глобус	393
Желтое/золотое/красное	403
Благодарности	411